

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ

DOI 10.22455/2541-8297-2020-16-278-306
УДК 821.161.1

Из архива Г.В. Адамовича

© 2020, А.И. Серков

Аннотация: Работа посвящена публикации архивных материалов, связанных с именем поэта и литературного критика Георгия Адамовича (1892–1972) и не вошедших в собрания его сочинений, издание которых было начато в последние годы. Публикуемая подборка, которая вносит определенный вклад в изучение наследия поэта и литературы Русского Зарубежья, призвана представить разные стороны деятельности Адамовича. Первый блок посвящен его масонской деятельности и включает в себя один из докладов, прочтенных Адамовичем на заседании русских масонских лож в Париже, «Тайна Пушкина». Вторая часть подборки, демонстрирующая многообразие переписки Адамовича, представлена письмом поэтессы Аллы Сергеевны Головиной о последних днях жизни брата, также поэта, Анатолия Штейгера, вероятно, наиболее яркого представителя так называемой «парижской ноты». Оно адресовано Адамовичу как идеологу указанного литературного направления. В качестве примера материалов, отобранных для неизданного тома из собрания сочинений Адамовича, было взято его выступление на вечере, посвященном Тэффи (Надежда Александровна Лохвицкая, в браке Бучинская, 1872–1952). Материалы сопровождаются вступительной заметкой и комментариями публикатора.

Ключевые слова: Г.В. Адамович, А.С. Штейгер, Тэффи, русские писатели и поэты в эмиграции, русские масонские ложи.

Информация об авторе: Андрей Иванович Серков, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Институт мировой литературы имени А.М. Горького РАН, Москва, Россия. E-mail: aserkov@bk.ru

Цитирование: Серков А.И. Из архива Г.В. Адамовича // Литературный факт. 2020. № 2 (16). С. 278–306. DOI 10.22455/2541-8297-2020-16-278-306

Данная публикация (по крайней мере, в таком виде) никогда не могла бы появиться, если бы мне не довелось встретить на жизненном пути Олега Анатольевича Коростелева. Объединил нас интерес к творчеству и биографии Георгия Викторовича Адамовича (1892–1972). В начале 1990-х гг. О.А. Коростелев был аспирантом Литературного института, я тогда же стал работать в Отделе рукописей Российской государственной библиотеке (далее — ОР РГБ), где из «спецхрана» в открытый доступ был переведен сравнительно небольшой личный архивный фонд парижского писателя. Архив Адамовича, переданный в ОР РГБ коллекционером Александром Яковлевичем Полонским (1925–1990), в определенной степени является скорее коллекцией материалов парижской русской масонской ложи Юпитер, членами которой были как Адамович, так и Полонский, что в силу профессионального интереса очень интересовало меня.

Следует напомнить, что работу исследователей в 1990-е гг. очень сдерживали многие факторы: доступность архивных (даже формально не «секретных») материалов; отсутствие системы копирования документов; компьютеры и мобильные телефоны были практически недоступны. Учитывая, что черновые автографы Адамовича поддаются прочтению с большим трудом, в одиночку что-либо сделать в обозримые сроки было проблематично.

Хотя формально диссертация О.А. была посвящена поэзии Адамовича, тем не менее интерес к литературной критике Георгия Викторовича вскоре стал для О.А. доминирующим. О.А. Коростелева интересовал поиск критических статей Адамовича в периодике, меня — неопубликованные работы идеолога «парижской ноты», его взаимоотношения с эмигрантской диаспорой. Так возникла мысль об объединении усилий в подготовке к изданию работ Адамовича. О различии подходов и интересов сейчас не время говорить, отмечу лишь, что была достигнута предварительная договоренность о совместном издании как минимум трех томов Адамовича: масонские доклады, переписка, воспоминания. В бескомпьютерную эпоху я занялся переписыванием, а затем и перепечаткой рукописей Адамовича, О.А. — копированием опубликованных работ.

Различные жизненные обстоятельства, постоянное «переключение» на другие работы задерживали выход из печати каких-либо книг Г.В. Адамовича. Наиболее активная моя совместная работа с О.А. относится, вероятно, к 1998–2000 гг. С началом нового тысячелетия «цифровизация» позволила изменить технологию подготовки книг к изданию, у О.А. как у ответственного секретаря историко-архив-

ного альманаха «Диаспора» появились определенные издательские возможности, поэтому к 2001 г. я передал ему свои копии (рукописные и машинописные) материалов Адамовича и теперь, увы, не знаю их судьбу, у меня же осталась так и «неиспользованная полностью» машинопись (порядка 500–700 страниц) отдельных мемуарных очерков (без переданных О.А. библиографических и комментаторских помет).

В 1998–2015 гг. (подчас с большим перерывом между выходом отдельных томов) в петербургском издательстве «Алетейя» было опубликовано 8 томов собрания сочинений Г.В. Адамовича. Практически вся работа по подготовке томов лежала на О.А. Коростелеве, но формально помимо самого О.А. в редколлегию издания входили я, С.Р. Федякин и Ж. Шерон. В 2015 г. издание указанного собрания сочинений в Санкт-Петербурге было прервано, и уже в московском издательстве Дмитрия Сечина было анонсировано новое собрание сочинений Г.В. Адамовича в 18-ти томах. Вскоре вышли, хотя и не в заявленном порядке, 4 тома, в значительной степени повторявшие петербургское издание. В проспекте нового собрания уже не было томов воспоминаний и масонских сочинений. Лишь в конце 2019 — начале 2020 гг. мое сотрудничество с О.А. возобновилось, помимо прежних издательских планов-идей появились и новые, связанные уже и с другими интересующими нас обоих лицами русской эмиграции, но безвременная смерть О.А. помешала их реализации.

Эта публикация не является подведением итогов давней работы, это скорее пока малая толика дани памяти О.А. Коростелева, воспоминание о совместных планах, о трех упомянутых ранее неизданных томах собрания сочинений Г.В. Адамовича.

Георгий Адамович сейчас более известен как поэт и литературный критик. Об Адамовиче как творце так называемой «парижской ноты», определявшей литературные вкусы русской эмиграции, писали многие, в том числе и О.А. Коростелев¹. Меньше знают об Адамовиче как об ораторе, чей талант проявлялся не только на собраниях многочисленных объединений русской эмиграции, но и в масонских ложах, о чем свидетельствует ряд мемуаристов. Адамович был посвящен в масонство в русской парижской ложе Юпитер 13 марта 1928 г., входившей в союз Великой Ложи Франции и работавшей по ритуалам так называемого Древнего и Принятого Шотландского Устава. Потом с перерывами, вызванными первоначально финан-

¹ См.: Георгий Адамович: Библиографический указатель работ о жизни и творчестве (1916–2010) / Сост. и предисл. О. А. Коростелев // Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. 2012. М., 2012. С. 479–586.

совыми проблемами с уплатой взносов, затем с событиями Второй мировой войны, Адамович являлся членом русских лож в Париже вплоть до 1965 г., когда раскол во французском и, как следствие, русском масонстве заставил его прекратить членство. Наиболее активная масонская деятельность Адамовича относится к 1950–1965 гг., когда он становится своего рода «дежурным оратором» во время наиболее многочисленных собраний русских вольных каменщиков². Пробовал свои силы в масонстве Адамович не только как оратор, но и как летописец масонства, став одним из соавторов истории своей «материнской» ложи Юпитер³.

Всего известно о 27 масонских докладах Г.В. Адамовича, до настоящего времени выявлены тексты 12 из них. Доклад «Тайна Пушкина» был прочтен Адамовичем при праздновании Иоаннова дня в 1957 г. в Объединении русских лож Древнего и Принятого Шотландского Устава. Он печатается по черновому автографу, который хранится: ОР РГБ. Ф. 754. Карт. 2. Ед. хр. 38. Текст публикуется в соответствии с правилами современной орфографии при сохранении особенностей языка оратора. В тексте исправлены очевидные опечатки и ошибки. Большинство «зодческих» работ Г.В. Адамовича сохранилось в виде черновых записей, которые он заносил в «школьные» тетради. Обладая и без того далеко не безупречным почерком, в этих тетрадях Адамович совсем не заботился о каллиграфии, и его записи поддаются прочтению с большим трудом. Как правило, во всех словах Адамович опускал окончания и, например, вместо «это» ставил просто «э». В ряде случаев восстановление бесспорных окончаний сделано без специальных оговорок. В тех местах, где не удалось прочесть текст, ставится отточие в угловых скобках. Как правило, текст не удалось прочесть в тех случаях, когда Адамович осуществлял правку и поверх строки дописывал новые варианты. В своих тетрадях Адамович оставлял левую сторону чистой, а на правой писал; позднее записывал новые размышления-вставки или варианты на левой половине тетради.

По сравнению с «масонским» наследием Адамовича его переписка неоднократно привлекала внимание исследователей.

² О масонстве Адамовича см.: *Серков А.И.* Российские масоны. 1721–2019: Биографический словарь. Век XX. Т. 1. М., 2020. С. 79–84 (здесь же даны отсылки к опубликованным в 4-м томе этого же издания спискам членов русских масонских лож, в которых состоял Адамович, позволяющие в значительной степени воссоздать постоянный круг общения Адамовича).

³ *Адамович Г.В.* История ложи Юпитер / Предисл., подгот. к публ. и примеч. А.И. Серкова // Записки Отдела рукописей РГБ. Вып. 52. М., 2004. С.373–435; Вып. 53. М., 2008. С. 507–550 (здесь также помещены данные о масонстве Адамовича и о его докладах в ложах).

Опубликованы либо готовятся к печати важные массивы переписки Адамовича, раскрывающие различные грани жизни русской интеллигенции (парижский критик переписывался не только с представителями эмиграции)⁴. О значительном объеме переписки Адамовича говорит даже тот факт, что в Собрании сочинений ей было отведено по плану два тома. Переписку я почти не публиковал, за одним исключением.

Для представления многообразия переписки Адамовича было выбрано письмо к нему поэтессы Аллы Сергеевны Головиной (урожд. Штейгер, во 2-м браке де Пелиши; 1909–1987), сохранившей архив брата, постоянного корреспондента М.И. Цветаевой, также поэта, Анатолия Штейгера (1907–1944). История вокруг появления письма опосредованно связана с политическими разногласиями в русской эмиграции. В 1947 г. произошел раскол в среде русских писателей и журналистов⁵. Формальным поводом для ставших многолетними споров был вопрос об отношении к движению «советских патриотов», но в действительности происходило идеологическое и мировоззренческое размежевание эмиграции. Консервативному Союзу русских писателей и журналистов, где руководящую роль играли А.В. Карташев, Б.К. Зайцев, Р.Б. Гуль, Н.Н. Берберова (в Союзе к 1948 г., времени написания письма А. Головиной, официально состояло 110 человек) в определенной степени противостояло Объединение русских писателей и поэтов. Большинство членов последнего (из его руководителей и наиболее активных членов, кроме Адамовича, назовем Н.А. Оцупа, Ю.К. Терапиано, А.П. Ладинского) считали, независимо от личных симпатий к советской действительности и власти, русскую культуру и, в частности, литературу единой, без разделения на эмигрантскую и советскую.

⁴ Библиография публикаций эпистолярного наследия Адамовича является самостоятельной работой. О.А. Коростелев неоднократно публиковал материалы по этой теме, отмечу лишь, что одним из первых материалов нашего сотрудничества стало мое копирование писем Бунина к Адамовичу (ксерокопии хранятся в ОР РГБ), однако совместная публикация в середине 1990-х не состоялась из-за вопроса об авторских правах. Затем вышла публикация: Переписка И.А. и В.Н. Бунинных с Г.В. Адамовичем (1926–1961) / Публ. О. Коростелева и Р. Дэвиса // И. А. Бунин: Новые материалы. Вып. I. М., 2004. С. 8–164. Мной, в свою очередь, была осуществлена одна небольшая самостоятельная публикация: *Серков А.И.* О дружбе двух писателей; Газданов Г. Письмо к Г.В. Адамовичу; О нашей работе № 2. Из серии передач на радио «Свобода» // Возвращение Гайто Газданова: Научная конференция, посвященная 95-летию со дня рождения. М., 2000. С. 295–302.

⁵ См. подробнее об этом эпизоде: *Серков А.И.* История российского масонства: В 3 т. СПб., 2009. Т. 3. С. 40–41 (здесь дан также более полный перечень имен русских литераторов, поддерживавших противоборствующие стороны).

В Объединении было задумано провести ряд вечеров, посвященных памяти русских поэтов. Объявление об предстоящих планах было опубликовано в эмигрантской печати. Первый задуманный Объединением вечер состоялся 20 ноября 1948 г. На нем о своих встречах с литераторами и их поэзии говорили: Н.А. Оцуп об А.А. Блоке, С.К. Маковский об О.Э. Мандельштаме, В.Л. Корвин-Пиотровский о В.Ф. Ходасевиче, Н.Д. Татищев о Б.Ю. Поплавском, А.П. Ладинский о М.А. Кузmine. Второй вечер состоялся уже 27 января 1949 г., где с докладами выступили: В.В. Вейдле о Ф.К. Сологубе, Вад.Л. Андреев о М.И. Цветаевой, Ю.К. Терапиано о Н.С. Гумилеве, П.С. Ставров об Э.Г. Багрицком. На втором вечере и было «оглашено» письмо Аллы Головиной, посвященное брату⁶. Именно письмо, значимое для понимания идейных основ «парижской ноты», и было выбрано для публикации. Оно печатается по автографу: ОР РГБ. Ф. 754. Карт. 5. Ед. хр. 9 (страницы пронумерованы автором, авторская орфография и отчасти пунктуация сохранены).

Постепенно противоречия в двух парижских писательских союзах «сглаживались», тот же Адамович стал посещать и заседания «старого» союза, поэтому предпринятый опыт, требовавший затрат значительных усилий, не был продолжен в прежнем виде, а на заседаниях Объединения большие вечера памяти вновь были заменены поэтическими вечерами отдельных авторов и лекциями Адамовича о современной, преимущественно французской, литературе.

Взаимоотношения А.С. Штейгера и Г.В. Адамовича не всегда были равными, первоначально уже маститый литературный критик совсем не интересовался творчеством еще одного молодого поэта, даже не знал его имени. Однако, отчасти благодаря подсказкам З.Н. Гиппиус⁷, Адамович принял творчество Штейгера, ставшего своего рода образцом воплощения эстетики его «парижской ноты». Адамович неоднократно писал о Штейгере как при жизни, так и после кончины своего последователя⁸.

В начале моего сотрудничества с О.А. Коростелевым при издании сочинений Адамовича создавалось впечатление, что мемуарные очерки и некрологи парижского критика уже готовы к изданию. По

⁶ Русское зарубежье. Хроника научной, культурной и общественной жизни. 1940–1975. Франция / Под общ. ред. Л.А. Мнухина в сотрудничестве с Т.Л. Гладковой, В.К. Лосской, И.М. Невзоровой, А.И. Серковым и Н.А. Струве. Т. 1(5): 1940–1954. Париж; М., 2000. С. 278, 291 (далее — Хроника, с указанием тома).

⁷ См.: *Штейгер А.С.* Мертвое «да»: Стихотворения, проза, воспоминания, письма. Рудня–Смоленск, 2007 (в книге, в частности, помещена переписка Штейгера с Гиппиус, раскрывающая эволюцию мировоззрения молодого поэта).

⁸ См., например: *Адамович Г.В.* О Штейгере, о стихах, о поэзии и о прочем // Опыты. 1956. № 7. С. 26–36.

этому поводу О.А. писал мне, что «том уже переваливает за сотню статей» и он почти готов. Однако выработанные принципы издания, поскольку О.А. хотел следовать публикации «блоков» произведений Адамовича (бесед, заметок, комментариев) в отдельных периодических изданиях («Звено», «Последние новости», «Русские новости» и т.д.), так и не позволили реализовать планы.

Для примера материалов, отобранных для неизданного тома Адамовича, было выбрано его выступление на вечере о Тэффи. О Н.А. Лохвицкой (в браке Бучинской), известной как Тэффи, Адамович писал и ранее указанного выступления, опубликовав ее некролог⁹. Через 10 лет после кончины писательницы Адамович вновь почтил ее память. Публикуемое выступление состоялось 25 ноября 1962 г. в зале Русского музыкального объединения за рубежом на заседании Союза русских писателей и журналистов в Париже под председательством Б.К. Зайцева. После «слова» Адамовича артистами прочли рассказы Тэффи и разыграли ее скетч «Четыре не»¹⁰. Выступление Адамовича печатается по черновому автографу: ОР РГБ. Ф. 754. Карт. 3. Ед. хр. 3. Л. 1–6. Листы пронумерованы автором; в этой же тетради сохранились черновые наброски этого же выступления о Тэффи (Л. 7–13), выступления на траурном собрании ложи Юпитер о Дмитрие Николаевиче Ермолове (1884–1963), предпринимателе, соавторе Адамовича по масонской истории (Л. 17–19). В этой же единице хранения находится еще одна тетрадь (с отдельной архивной пагинацией), в которой собраны черновые наброски статей и выступлений Адамовича этого времени: о Достоевском, о «Матренине дворе» А.И. Солженицына и т.д.

*

Адамович Г.В. [Тайна Пушкина]

Д<осточтимый> Маст<ер> и д<орогие> б<ратья>.

Позвольте прежде всего сказать о слове «тайна», которое стоит в заголовке моей сегодняшней беседы. Правильнее было бы, если бы оно стояло в кавычках. Тайна Пушкина. У меня не было и нет претензии открывать в его творчестве или в его биографии что-либо такое, фактически <ки> что не было известно до сих пор. Я имел в виду

⁹ Адамович Г.В. Памяти Тэффи // Новое русское слово. 1952. № 14783, 17 окт. С. 8.

¹⁰ См.: Хроника. Т. 2(6): 1955–1963. С. 523.

знаменитую заключительную фразу знаменитой речи Достоевского на Пушкинском торжестве в Москве в 1880 г.¹¹

— Пушкин унес с собой в гроб великую тайну. И вот мы эту тайну разгадываем.

О чем именно говорил Достоевский? По его утверждению, Пушкин был всечеловеком и обладал в своей поэзии таинственным даром перевоплощения в француза, когда писал о Франции, в англичанина, когда писал об Англии — и так далее. Всё было ему будто бы доступно и всепонимание его, способность откликаться была бесконечна. Из этого положения — само по себе по приемлемости спорного — Достоевский сделал фантастический вывод: если наш национальный гений наделен был даром всемирной отзывчивости, то это верный залог того, что Россия призвана объединить все народы и озарить их к концу истории светом своей христианской, православной и самой своей правды. — Как вы, конечно, знаете, речь Достоевского произвела впечатление, другого примера которому во всей нашей литературе не было: когда он кончил — люди рыдали, бросались друг другу в объятия, кто-то даже упал в обморок. Несомненно, надо было слышать Достоевского, видеть его горящие глаза, его пророческий облик, слышать его глухой, страстный голос, чтобы что-либо подобное испытать. Когда мы теперь перечитываем эту речь, остается от нее немного, и во всяком случае остается впечатление, что Достоевский больше говорил о самом себе, чем о Пушкине. Я решусь даже сказать, что если бы Пушкин эту речь прослушал — без упоминания его имени — он, может быть, и не догадался бы и не мог, что речь о нем, настолько далеки эти славянофильские видения, надежды, догадки с типично славянофильским смешением смирения — с безграничной гордостью, унижения с заносчивостью, безбрежностью российской, настолько далеко всё это от его духовного склада.

Но речь имела в нашей литературе большое значение, и с нее именно началось стремление усложнить Пушкина, у Мережковского и — позднее особенно у Гершензона дошедшие до выискивания

¹¹ Речь Ф.М. Достоевского, произнесенная 8 июня 1880 г. на заседании Общества любителей российской словесности в Москве, посвященном торжественному открытию памятника Пушкину на Страстной (Пушкинской) площади 6 июня, и ставшая огромным общественным событием. См.: *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 26. Л., 1984. С. 136–149, 441–491 (коммент. Г.М. Фридендера при участии А.О. Крыжановского).

тайн и бездн в любом его пустячке, пусть и очаров<ательном> пустячке, вроде «Графа Нулина». Даже Ход<асевич>¹².

Было, правда, и сопротивление, была реакция. Определен<нее> всех высказался в этом смысле Милюков в своей книге «Живой Пушкин», категорически заявив, что никаких тайн у Пушкина не было и что тем он и велик, что это был бесконечно умный и бесконечно талантливый человек, но простой, здоровый человек, всякого национального мистического чаяния чуждый, во всяк<ом> [случае не] вер<ивший> в какую то особую миссию России.

Истина не всегда бывает посредине, но случается, что искать ее приходится действительно там. Пожалуй, это и так, когда начинаешь думать о Пушкине. Даже скептически относясь к предсказанию Досто<евского> о финальных гармонических аккордах истории, которые, будто бы, должны прозвучать в России в соответствии с пророч<еским> и символичес<ким> явлением Пушкина, надо, мне кажется, признать, что что-то таинственное в Пушкине действительно есть, при всей его видимой ясности. Может быть, даже не столько в нем самом, сколько в судьбе, в нашем отношении к нему, в месте его в истории России. Все-таки свести его по примеру М<илюкова> к тому, что он писал превосход<ные> стихи и дал прекрасные картины русск<ой> жизни, нельзя, — и не потому нельзя, что это умаляет его, а потому, что делая это, мы насилуем сами себя. Притом [я] вовсе не склон<ен> раздел<ять> обожест<вление> Пушкина, столь распр<остраненное>, идолопоклон<ничать> перед ним, и я вовсе не уверен, что Пушкин есть абсолютная вершина русск<ой> литературы, как, скажем Данте в Италии или Шекспир в Англии. Нет, у нас есть Тол<стой>, есть Гоголь, есть другие, и кому принадлежит русская литер<атурная> корона решить трудно, да решать это и ни к чему. Три чел<овека> как писа<тели> имеют на нее одни права.

Но у Пушкина особое положение и к нему особое, единствен<ное> отношение. Как первую любовь, Россия не может его никогда забыть, сказал Тютчев. Совершенно верно. То, что у нас возник «пушкинизм» — огромная наука при отсутствии толстойизма, гоголизма, лермонт<изма>, не случайно. То, что каждая вновь обнаруженная строка Пушкина, каждое новое сведение о его жизни и смерти — вроде недавно найденных в Ниж<нем> Тагиле писем Карамзиных¹³ — вызывает не просто литератур<ный> интерес,

¹² Фраза не дописана, по смыслу: «отдал дань этому стремлению». На полях помета: «через Гоголя Достоевского требов<ал> возвр<ата> к Белинскому».

¹³ Хотя письма были найдены в 1939 г., первая информация о них в печати относится лишь к 1954 г., а предварительная журнальная публикация Ираклия Андроникова — к 1956 (Новый мир. № 1).

а подлинное волнение, не случайно. Пушкин дорог России как-то совсем особо, и здесь, в этом, действительно есть что-то такое, над чем стоит задуматься. Размыш<ления> о Пушкине переда<ются> из поколения в поколение, это наше русское дело, и мы теперь, может быть, не совсем эту тайну разгадаем, над котор<ой> скло<нялся> Дост<оевский>, но делаем, пусть и с бесконечно уменьш<енными> силами, по существу то же дело. Так будет и в будущем. Некоторое средоточие русск<ой> мысли в Пушк<ине> сомнению не подлежит.

В чем же дело? — спрашива<ю> себя в сотый раз. Да, стихи, удивительная простота и свобода в э<тих> стих<ах>, удивительный ум, совер<шенство> в кажд<ой> строчке, — но не только же это. За стихами есть что-то другое, более общее — и вот о том, об этом общем, я и позволю в сегодн<яшний> наш празд<ничный> день высказать несколь<ко> соображений.

Кажется, нет ни одной ста<тьи> о Пушк<ине>, где не упоминалось бы слово «гармония» — набившее оскомину. Мало о нем и статей, где не говорилось бы, что он учитель, чуть ли не основ<атель> ве<ликой> новой живой русск<ой> литера<туры>, что с него всё начало<сь>.

Но подумаем, нет ли в этих двух положениях противоречия и в этом противоречии нет ли и ключа к Пушкину? Конечно, в школьн<ой> плоскости всё, что [в] обеих говор<ится> о П<ушкине>, правильно: он окончат<ельно> развил язык, он создал литератур<ные> жанры, он в сущности нап<исал> и перв<ый> наст<оящий> русск<ий> роман. До эт<ого> были только пробы пера. Но прив<ычная> форма зависима от него, вся великая поздне<йшая> русск<ая> литера<тура> создалась в порыве безотчетн<ого> восстания на него, и чтобы убедиться в этом, доста<точно> вспомнить, что о гармонии в прим<енении> к Лерм<онтову> или Гоголю, к До<стоевскому> или То<лстому> никто говорить не стал. У них, у этих странных учени<ков> и последов<ателей> Пушкина, нет недоста<тка> гармонии — которое можно бы<ло> объяснить как-либо, бедностью духа или мастерства — а сознательное, бурн<ое> отвержение ее во имя чего-то такого, что в гарм<онию> не укладывается и что в их представлении дороже, чем она.

Во имя чего-то... Нелепо определять во имя чего. Чем более думаешь о русской великой слепош<кинской> литературе, тем яснее видишь, что в ней, в самой основе ее, в основе побужде<ний> ее, в том, что прежде в крити<ке было> вопросом вопросов, что писатель хотел сказать, есть оттенок безумия. Конечно, я должен сразу оговориться, что я не вкладываю в это слово «безумие» ни тени осу-

дительного содержания. Безумие не сумасшествие: в него надо бы в данном случае вложить смысл самый высокий, почти священный. Она [литература] могла быть очаровательно анархична, как у Толстого, могла обольщаться насчет самой себя и своего охранительно-консерват<тивного> направления, как у Гоголя или Достоевского, но в глубоком разладе с жизнью, со всякими достижениями, с возможными форм<ами> жизни, и во всяком случае с формально-жизненными установками, она оставалась всегда. Сам консерв<атизм> Гоголя с проп<оведью> Ева<нгелия> и советом немед<ленно> бить непредсказуемо крепко по физиономиям безумнее толст<овской> анархии. Ну, о взлетах и падениях Дост<оевского> и говорить нечего. Но в этом споре с жизнью и ее сложившимися формами есть что-то глубоко задевающее челове<ческую> совесть, и я думаю, что когда в конце прошлого века, после книг Вогюэ¹⁴ на Западе, при знако<мстве> с русской литературой, возник такой отклик от этих тем, что русск<ий> писатель внезапно разбудил совесть западн<ого> человека, будто толкнули спящего. Кстати, у Ром<ена> Р<оллана> есть замеч<ательный> рассказ о том, как он давал читать С<мерть> И<вана> И<льича> людям, которые вообще мало читали — и о том, как растерянно возвращали ему книги и что они говорили в ответ.

Собственно говоря, во имя этого своего чего-то — высшего, неулови<мого>, недося<гаемого> идеала — русск<ие> писатели камня на камне не оставляли не только во всяком общественном устройстве, во всяком представлении о государстве, но и больше — в самой культуре. Если бы не этот идеал, не этот порыв, они были бы нигилистами, но, конечно, язык не повернется сказать о них это слово, настолько идеал очевидно высок, настолько искренни и мучительны поиски его. Вспомним, однако, некоторые строчки Лермонтова, молившего творца избавить его от «страшной жажды песнопения». Вспомните, как умер Гоголь, мало-помалу признавая всё на свете грехом, кроме поста и молитвы. Всё опрощение Толстого, практически беспомощного и трагически упершегося в тупик.

Пушкин мог сомневаться в чем угодно, мог критиковать людей, порядки, не сомневался он только в одном: в значении и ценности культуры со всеми выводами из призна<ния> этого значен<ия> и этой ценности. Мне всегда представлялось знаменательным, что, умирая, Пушкин взглянул на полку с книгами и сказал: прощайте, друзья! Представьте себе аскета Гоголя в последние дни, представьте себе

¹⁴ Вогюэ Эжен Мелькиор де (1848–1910), французский писатель и историк литературы, иностранный член-корреспондент С.-Петербургской Академии наук, автор книги «Русский роман» (1886).

Толстого в Аста<хове> — и вы почувствуете, насколько невозможно в их устах подобное восклицание. Сжечь надо все книги, бежать от книг, в них ложь, обман, смерть отцов, и уж конечно, если было когда-нибудь произнесено слово правды, то не ученым мудрецом и фило<логом>, а жалким рыбаком, кто не умел ни читать, ни писать.

Бердяев, скорее популя<ризатор> и комментатор, чем челов<ек> творческий, сказал о Толстом очень верные слова — что Толстой предложил «рискнуть миром», т.е. принял анархию во имя Бога, с верой, что только Бог человеческие дела устроит. Толстой, при своей нравст<венной> магии, имел право делать такие предложения. Но обыкновенные смертные, отдавая ему должное, удивляясь ему, преклоняясь перед ним, едва ли должны ему следовать в этом риске. У нас в случае проигрыша нечем будет платить. У нас это было бы просто нечистой игрой, на пустое «авось»¹⁵.

И вот тут как оплот, как защиту вспоминаешь Пушкина. Правда, можно было бы вспомнить и другого человека, моложе, который тоже в культуре не усомнился — Тургенева. Из бол<ьших> русских писателей Тургенев в последующем поколении единственный, который никак связан с безумной одержимостью не был. Но беда в том, [что] Т<ургенев> — не на уровне Гог<оля>, Д<остоевского> или Т<олстого>, и потому противостоять им не в силах. Можно сказать проще: при срав<нении> Т<ургенева> с Т<олстым> или Д<остоевским> <...> он просто не совсем понимает, не совсем знает, о чем те говорят, а возражает им как умный, образованный рационалист, убежденный в своей правоте <...> По-своему он прав, но говорит о другом. У Тург<енева> есть <...> стран<ицы>, глубоко возмутив<шие> Д<остоевского>, — строчки, где он с наибольшей резкостью выразил свое мн<ение>, что никаких мыслей у России нет, что всё э<то> досужее и опасное бахвальство, что кроме лаптей, кнута и гречн<евой> каши со щами Россия ничего не создала и не выдумала, и что лучшее, что может она сделать, это скромно плестись в хвосте западной цивилизации, ни на что другое не претендуя. Страница замечат<ельная> по страстности, вообще-то Тургеневу не свойственной, но полемически неубедительная: это м<ожет> б<ыть> убедит<ельный> отв<ет> на вульгарный ame slave, но это не отв<ет> Т<олстому> или Д<остоевскому>. Всё мимо, всё не о том.

¹⁵ [Приписка на полях:] Толстой враждовал с идеей государства, что нередко ставили ему в упрек. Но нельзя себе представить государства, с которым он мог бы ужиться, и дело тут не в русской монархии, а во всем органическом устройстве жизни.

Как это ни парадоксально, хронологически ответ Т<олстому> или Д<остоевскому> — тоже у Пушкина. Это нельзя понимать дословно, что было бы абсурдом; П<ушкин> не знал, конечно, что скажет р<усская> литература после него, но в том-то и чудо его явления, что он как будто заранее предостерег от этого. Он на этой высоте, на этом уровне. И зная, чувствуя всё то разрушительное неумолимо-несговорчивое, что бывает внушено совестью и религиозной тревогой, он дает представление о мире, где всё разрушение остановлено, не в пример Тургеневу, подлинное до подлин<ности> и высок<ой> мудрости, способное с любым безумием спорить. Я спросил себя в нач<але> своего слова: почему мы Пушк<ина> так любим? Мы, м<ожет> б<ыть>, не отдаем себе отчета в этом, но я думаю, в конце концов любим его за оправдание культуры и творчества, не только получить защиту, но именно достигнуть оправдания, за спокойствие, которое он вносит в душу, пусть индивиду<альную> и несчастную — это дело личное и второстепенное — за то, что с Пушк<иным> можно жить и что-то делать в жизни, а не биться головой о стену или как рыба на песке, задыхаться <...> Конечно, в литер<атуре>, в поэзии нет схематизма, и напрасно, даже наивно было бы искать у Пушкина прямых, логически понятных и декларативных заявлений об этой теме. Цитатами можно доказать или опровергнуть всё, что угодно, потому что поэт не попугай, который неизменно повторяет одно и то же. Логически содержание цитат бывает бесконечно противоречиво. Но то, что остается, когда отдельные мысли и отд<ельные> слова забыты, то, что выделяется как дух и сущность творчества, обмануть не может. Пуш<кин> мог сказать в начале речи, что от судеб защиты нет, или в конце ее «что на свете счастья нет», его поэзия ост<ается> жизнеутверждающей и мироутверждающей — не в том смысле, что когда-нибудь Россия возвестит изумленному миру последние истины и тайны, а проще, скромнее, в том смысле, что как выразился Чех<ов>, что «надо дело делать» [в] страшном мире[, в] страшной жизни упорно, не малодушничая после неизбежных срывов и неудач, с мужественным, даже героическим согласием себя ограничивать, и помнить о недоступном, храня его отблеск в душе, не отбрасывать мир и жизнь из-за того, что достигнуть недостижимого не могут. Я думаю, что когда он незадолго до смерти ставил себе [в] заслугу то, что «чувства добрые он лирой пробуждал», именно так должны быть поняты. В этом, глубоком и истинно человеческом значении, Пушкин ближе всех других писателей нашему ордену.

И я был бы рад, если 120 год<овщина> со дня его смерти, как, впрочем, каждый раз, когда мы его вспоминаем, дала бы нашему со-

бранию особый праздничный и торжественный хорал и объединила бы всех.

Я, м<ожет> б<ыть>, злоупотребляю вашим вниманием, но все-таки хотел бы сказать еще два слова, совсем коротко о посмерт<ной> судьбе Пушкина <...>

Конечно, его положение в русской культуре особое — потому, что в этой культуре, которая в лице великих своих представителей сама себя испепеляет и уничтожает, и в неукротимом своем максимализме ни перед чем не останавливается, он единственное явление мудро-разумн<ого>, а не мудро-безумного. Но и в русской истории вообще положение его особое. Откуда он явился? Почти из ничего, после еще недавнего державного варварства, это беспримерное совершенство, неслыханное чувство меры, — неслыханное не только по сравнению с нашим русским писателем, но и по сравнению с Западом. Ипполит Тэн¹⁶ сказал о Тургеневе, что это эллин в совр<еменной> литературе. Ну, какой Тургенев эллин? Тургенев — либерал слаб<ольный>, чуть-чуть <...> русский барин, а не эллин, но Т<ургенев> был ученик Пушкина, и через него, вероятно Тэн почувствовал Пушкина, в котором действительно больше, чем в любом западном писателе прошлого века, было что-то греческое. Россия как будто показала в Пушкине, что она может дать — но не удержала этого, выпустила из рук, или принесла в жертву. 29 I 1837 — дей<ствительно> таин<ственная> дата в русской истории. Не то, что точно в этот день, но приблизительно в эти годы — с этим днем в<сё> ценнейшее, всё у нас началось катиться под гору, к будущим неизбежным и страшным временам, в литературе, в обществ<венной> жизни, во всем. В Пушкине было чистое и ясное видение, проявление возм<ожностей> России, как будто померкнувшее с его гибелью.

И странно, что у нас, у многих русских людей есть передаваемое по наследству чувство ответ<ственности> за его гибель. Еще Б<лок> сказал, что П<ушкина> убила не пуля Дантеса¹⁷. Но за фактическим предлогом убийства есть причина более общая и глубокая. Не знаю, ощущал ли это сам Пушкин, но смерти он явно искал, как будто зная, особо чувствуя, что она нужна и что для нее настал срок. Теперь, оглядываясь на это уже далекое прошлое, начинаешь думать, что случается в истории народов и цивилизаций, что это [в] нас и цивилизации убивали лучшее, что они создали и что есть в этом какая-то

¹⁶ Тэн Ипполит (1828–1893), французский литературовед, философ, родоначальник культурно-исторической школы.

¹⁷ Начало фразы из речи «О назначении поэта».

внут<ренняя> закономерность будто нужна искупительная жертва. Я не хотел бы ссылаться на пример религиозный, такое сопоставление могло бы многих покоробить или оскорбить, но можно сказать, что смерть Пушкина в истории России¹⁸ приблизительно такое же место, как смерть Сократа в Греции, — только мы не дождались еще своего Платона, кот<орый> об этой смерти сумел достаточно рассказать бы. Это не просто смерть, а именно убийство и жертва. Не уберегли, не спасли, не поняли.

В истории России сам этот грех внутренне обогащает ее и усложняет новым смыслом. Произошло что-то непростительно-нелепое, на первый взгляд, и при этом загадочно-значительное. Сам актер этой как будто банальной свет<ской> драмы, этот беспечный и глупый кав<алерийский> офицер лично невиновен — п<отому> что он не знал, что делал, как лично не очень виновна была и глупей<шая> Н<аталья> Николаевна, тоже ничего не понимав<шая>, оказав<шаяся> <...> бессознательно участницей нашей великой национальной трагедии, если и марионеткой, то в руках Рока, а не светских интриг и кокетства. Было бы слишком самонадеянным начать решать, зачем эта жертва была нужна, но чем о ней более начинаешь задумываться, тем глубже чувствуешь, что опоз<нание> чрез Пушкина России есть до сих пор и что первая проверка истинной русскости русс<кого> человека не в каком-либо национальном маскараде и крикл<ивых> патриотических лозунгах, а именно в чувстве Пушкина, его судьбы и его знач<ения>, в вере его памяти. Можно считать, что в истории вообще никакого смысла нет, и действуют в ней лишь слепые, никем и ничем неуправляемые силы. Но если это не так, то в русской истории есть не несчастный случай, а общее печ<альное> событие <...>.

*

А. Головина — Г. Адамович

15 ноября 1948 г. Берн

Madame A. Golovine de Steiger

Belpstrasse 53

Berne

Suisse.

15.11.48.

Дорогой Георгий Викторович, сегодня я прочла в «Русских Новостях» об устраиваемом вечере памяти умерших за последнюю

¹⁸ В тексте явная описка «Греции».

четв<ерть> века поэтов. Я не знаю, кто будет выступать с воспоминаниями и будут ли читаться стихи поэтов или же они будут лишь попутно цитироваться, будет ли кто-либо вообще говорить о моем брате и т.д., но мне захотелось до этого вечера написать Вам и о нем. Если что кому пригодится, буду рада. Можно бы было дать целую небольшую статью о последних годах его жизни, т.к. я была всё время именно эти последние годы с ним тесно связана, как когда-то лишь в раннем детстве, но, увы, времени — несколько дней, и мне некогда почитать его «архивы», полистать, подготовиться, подумать и написать конкретно и кратко. Я знаю, что Вас с моим братом связывало долгое приятельство, что он очень Вас любил, из-за Вас пререкался — много, например, с Цветаевой (она ведь так в своих знакомствах оказывалась ревнива и недопускающая никого к никому), что Вы, наверное, не удивитесь, что я всё-же пишу об Анатолии и именно Вам. Кстати, о Цветаевой, ее я близко знала последние ее годы жизни в Париже (мы видались под конец почти ежедневно), так что если бы время мое перед этим вечером не было столь ограничено, то и о Марине я могла бы рассказать много «живых» вещей¹⁹. Ведь круг ее знакомств был так невелик под конец. Черновы²⁰, Бунаков²¹, докт<ор> Лебедева²², артистка Гальперн²³, и это, кажется, всё. Других она встречала лишь эпизодически, спорадически, как-то. И тому было много причин, из кот<орых> нежеланье общаться с эмиграцией было — неглавной, разумеется, а лишь — классическим поводом. Но не о Марине речь, а об Анатолии. Мне кажется,

¹⁹ О взаимоотношениях Марины Цветаевой с Анатолием Штейгером и его сестрой Аллой Головиной см.: *Цветаева М.И.* Письма Анатолию Штейгеру / Сост. и подгот. текста С.Н. Клепининой; примеч. Р.Б. Вальбе. Болшево, 1994; *Цветаева М.И.* Собр. соч.: В 7 т. Т. 6–7: Письма / Сост., подгот. текста и коммент. Л. Мнухина. М., 1995.

²⁰ Речь идет о семье политического деятеля, идеолога Партии социалист-революционеров, публициста Виктора Михайловича Чернова (1873–1952) и его второй жены Ольги Елисеевны, урожденной Колбасиной, в первом браке Федоровой (1886–1964). Их дочери (первые две от первого брака О.Е. Колбасиной, удочеренные В.М. Черновым) были замужем за молодыми литераторами русской эмиграции: Ольга (1903–1978) — за Вад.Л. Андреевым (1902/1903–1976), Наталья (1903–1992) — за Д.Г. Резниковым (1904–1970), Ариадна (1908–1974) — за В.Б. Сосинским (1900–1987).

²¹ Фондаминский Илья Исидорович (псевд. Бунаков; 1880–1942), революционер, в эмиграции — редактор, религиозный деятель.

²² Лебедева Маргарита Николаевна (урожд. баронесса Спенсер; 1880–1958), жена революционера и политического деятеля, редактора Владимира Ивановича Лебедева (1885–1956), близкая подруга М.И. Цветаевой.

²³ Прочтение фамилии предположительное. Вероятно, речь может идти о Саломее Николаевне (Ивановне) Гальперн (урожд. Андрониковой, в первом браке Андреевой; 1888–1982), в эмиграции редакторе французских иллюстрированных журналов, постоянно финансово помогавшей М.И. Цветаевой.

что Вы с ним переписывались мало, последовательная переписка <—> вещь, не для всех годящаяся, увы. А как его радовали Ваши письма. У Анатолия этот дар был, и он переписывался много и со многими. Сознание, что всем буквально его друзьям плохо и что им угрожает опасность, его убивало буквально. В санатории в Leysin он пробыл 1½ года. Умер он 23^{го} октября 1944 года²⁴. Он похоронен в Берне. Я перевезла его тело, и его отпевали в часовне на здешнем распрекрасно подчищенном и цветущем кладбище, где есть и земляки (много), а среди них — Долгорукий, написавший анонимное письмо Пушкину²⁵, и Бакунин. Анатолий эти могилы фотографировал, он любил «маленькую историю», Вы это, вероятно, знаете. Сейчас мы поставим ему хороший крест, до сих пор стоит временный, а вокруг штамбовые розы. Он просил розы и вереск (из нежности к Бренте; он немножко считал выводок Штейгеров схожим с теми бедняжками в ландах). Но к этому вечеру вопрос о родовой или семейной саге отпадает. Т.к. Leysin находится очень далеко от Берна (6 ч. езды, 3 пересадки, множество денег), то я его видала сравнительно редко последние 1½ года, к тому же — привязанная к военному бюро, в кот<ором> до его болезни мы работали вместе. Свои же последние каникулы я провела в сентябре частично с ним, и т.к. положенье было уже совершенно безнадежно, собиралась как-нибудь сотворить чудо и его последние недели провести с ним. Он умер неожиданно во сне, месяца за 2 до предполагаемого срока, от разрыва сердца. До 11ти ч<асов> вечера он сидел в комнате рядом, у товарища и «поддерживал ему мораль». Смерть его была легка и ясна. Я приехала на следующий день, на ночном столике лежали письма, на кот<орые> он еще не ответил (помню прекрасное письмо Ек. Кусковой из Женева) (кажется, Вы с ней когда-то ужасно полемизировали или она с Вами), стоял горшок вереска и Евангелие. А на рабочем столе лежали фотографии и альбом, и начатая для швейц<арской> газеты статья, кажется, о Польше. Всё было педантично и четко, как карты на стенах, Гитлер в виде свиньи, сувениры из Албании, огромное окно на прекрасную долину Роны. (Он говорил: у меня окно, как легендарное — в Бертесгадене.)²⁶ Пишу «педантично», п<отому>

²⁴ Ранее считалось, что А.С. Штейгер скончался 24 числа.

²⁵ Долгоруков Петр Владимирович (1816–1868), историк и публицист, с 1859 г. — в эмиграции. Долгорукова долгое время подозревали в авторстве анонимного пасквиля, который послужил причиной дуэли А.С. Пушкина. В последнее время графологические экспертизы доказали, что пасквильные письма написаны не рукой Долгорукова.

²⁶ В общине Берхтесгаден в Баварии располагались резиденции руководителей нацистского государства, в том числе «Орлиное гнездо» А. Гитлера.

ч<то> боюсь, чтобы Вы меня не заподозрили в «розовой воде», и потому кидаюсь в иную крайность. Конечно, не педантично, а — мужественно и достойно, и так — lucide²⁷. Он же знал, что умрет очень скоро, да и врач сказал ему об этом в лоб, теперь такая манера... И Анатолий после этого попросил меня на моих каникулах приехать к нему. Я болтала, как сорока, о бюро, о войне, о том, что было и будет в Париже, о локальных сплетнях — «лушила горох», и он слушал, как всегда, нежно и иронически, а потом сказал: это, душка моя, неважно для меня, я же умираю. И у меня не хватило человеческих сил *показать*, что я понимаю правду. Мы провели с ним вместе несколько дней, весь последний «жар жизни» в нем уже был транспонирован (кажется — выражение Фельзена²⁸) на боль и на страх за друзей, о кот<орых> он *всегда и вообще* больше беспокоился, чем о себе. Мы говорили много о Вас, в маленьком блокноте его последнего дневника (книжечка подарена Мар<иной> Цв<ветаевой> с многозначительным и строгим введением), он тоже много пишет о Вас, с тоской немножко однобокой дружбы и пламенной наивностью преданности и верности духовной, каковые можно сейчас повстречать лишь в советск<их> романах, стихах, фильмах; у «мологвардейцев», например. Ибо это не немецкий романтизм, отнюдь... Не берусь сейчас об этом рассуждать, письмо пишу наскоро, без плана, оно — *décousue*²⁹ на удивленье, но «фон» моей памяти сейчас настолько огромней того, о чем я пишу без подготовки, конструкции, дисциплины, техники (последние слова пишу смеясь и из озорства, и всё-же они — правда). Так вот, «в той книжечке из красного сафьяна», заполненной аккуратным и опять же педантичным почерком и по старому правописанию, Анатолий говорит о том, как он болен, как он смертельно устал, но эта «нытика» лишь введение (*его* введение) к юным призывам к Вам «для беседы до 3^x ч<асов> ночи, в каком угодно городе и кафе, ибо “за озарения”³⁰ Адамовича и за некоторые строки его стихов я не задумываясь отдал бы всё, что мог, и, конечно, забыл бы свое умирание». (Больных ведь не смерть страшит, а умирание, — не старческое постепенное остывание чувств, а — исчезновение, внезапная их атрофия при внешнем ярчайшем их порой выражении.) Я не знала, да об этом раньше никогда и не думала, Георгий Викторович, что Вы были таким могучим и могущественным духовным стимулом для Анатолия и что, значит,

²⁷ Ясно (*фр.*).

²⁸ Фельзен Юрий (наст. имя Николай Бернгардович Фрейденштейн; 1894–1943), писатель, прозаик, литературный критик.

²⁹ Несвязное (*фр.*).

³⁰ Сверху приписано — «прозрения?».

вероятно, и для других были и есть тем же, ибо «по целому ряду причин» «отстояла» от Вас очень далеко всегда (когда я говорила, что Вы мне милы, мне, кажется, даже не верили), и только с годами, смертями, войнами, одиночеством и запоздалой взрослостью и серьезностью (важностью — по Пушкину) и вот с этой вот книжечкой дневника «обращаю на Вас свое второе зреньё» и благодарю Вас за те годы, когда Вы с Анатолием встречались или Анатолию писали. О, как бы я об этом хотела с Вами поговорит <до 3^х ч<асов> утра безразлично в каком городе и кафе>... Это не личные рассуждения в письме, а один из стержней жизни Анатолия, додержавших его до окт<ября> [19]44 года. Вы видите, что если бы я сделала выписки из его дневника, то мне бы пришлось писать о нем, Вас и всех — год, ибо я бы не удержалась от комментариев. Кстати, до августа этого года я не могла притронуться к архивам Анатолия, ни повесить у себя в комнате его фотографию, но в августе из городка Ольтен (около Базеля) приехал ко мне редактор местной газеты и попросил меня составить книгу об Анатолии. Это издание не было задумано как рентабельное, как говорится, а лишь как *hommage*³¹ его памяти. И тогда я заставила себя заняться немного наследием Анатолия. «Немного», п<отому> ч<то> вижу, что для иностранцев многое не скажет ничего, а многое и сказано быть не может. Анатолий все годы войны систематически писал статьи для швейцарских газет (их — множество и большинство — с фотографиями): для Бунда (аффициоз), для Бернер Тагеблатт'а, для l'Illustré. Но это отдельным изданием теперь опубликовать неинтересно. Все газеты написали после его смерти чудовищные по экзотике и лжи некрологи, хорошо только, что всюду была напечатана прелестная его фотография: кудрявый и нежный юноша. Да ведь он и бывал еще таким до конца, хотя ему и исполнилось 37 лет в [19]44 году. Это, вероятно (некрологи), случилось по моей вине, п<отому> ч<то> мы с младшим братом³² никого не принимали (но младший брат *roug une fois*³³ объявил себя некомпетентным), и бред об Анатолии был таков, что трудно себе представить. Хоть судись. Но нам было не до того. Всё ведь подавалось, в конце концов, в форме панегирика или апологии или русского сфинкса, ибо и *ame slave*³⁴ не хватало в [19]44 году. Не забудьте, что в это время всюду и везде печатались взволнованно и зловеще направленные «Скифы» Блока или Пушкина: «клеветникам России»,

³¹ дань (*фр.*).

³² Вероятно, речь идет о Сергее Сергеевиче Штейгере (ум. 1987).

³³ на этот раз (*фр.*).

³⁴ русской души (*фр.*).

и подозрительное множество «Пророков», т.к. все русские стихи без заглавия примерно так окрещивались в связи с «непонятными» победами красной армии. Так уже почти космополит Анатолий стал русским до шовинизма после смерти, и так лучшее написанное им ждет не иностранных *hommage*'ей, а русского издателя-благотворителя, коего, вероятно, в эмиграции больше не сыщешь. Стихи Анатолия приведены в полный порядок им самим перед смертью, это избранные стихи за все годы его творчества, и называется сборник $2 \times 2 = 4^{35}$. Пока этот сборник лежит только на моем столе. С начала войны Анатолий не писал стихов *сознательно* и жизни своей после войны никогда не видел. «Я, душка, — сказал он мне в 1940^{ом} году, — одна из жертв Гитлера. Я буду с ним воевать и погибну». Он дважды получал предупреждения от служащих немецкого посольства, во время войны, что он состоит за свои статьи в каком-то там списке и после войны поедет с некоторыми швейцарскими журналистами и евреями в Сибирь на рудники. Оба раза он весело ответил, что решил «раз в жизни пострадать за убеждения». И, несмотря на крайнюю нейтральную осторожность швейцарских редакторов, ухитрялся писать в своих статьях, действительно, ехиднейшие вещи, кот<орые> весело-же некоторыми его читателями расшифровывались. Тут было во время войны несколько таких журналистов, кот<орые> всё пробивали, как Гаршинская пальма в оранжерее³⁶, боюсь всё-же сослаться на прием таких романистов, как Сервантес или Свифт, но, уверяю Вас, это шло по той же лестнице. Вообще странный этот веселый вызов его был таким прекрасным его последним обликом (в течение 4^х лет), такой цельной монолитной человеческой гранью, что я, несколько стилизованно всегда ему кричавшая об его разложении и прочем, впрочем, более для возникновения полемики, т.е. для движения жизни, в стихах и в жизни, долгие годы нашего прозябания тут им гордилась, и не <потому> <что>, оставаясь самим собой, при испытании он смог делать всё и лучше многих: при своем состоянии здоровья работать 8½ ч. в бюро (годы), любить отсутствующих и забывших друзей, бороться с немцами, быть скромным и нетребовательным на удивленье, «поддерживать чужую мораль» до последней минуты жизни. Когда я у него (живого) была в последний раз, я останавливалась в его санатории и со всеми познакомилась, и последнему его другу, умирающему и теперь умершему юноше полуан-

³⁵ Этот сборник был опубликован парижским издательством «Рифма» в 1950 г. (первая книга издательства, редакционную коллегию которого возглавлял С.К. Маковский).

³⁶ Отсылка к сказке-аллегории В.М. Гаршина «*Attalea princeps*» о пальме, рвущейся к солнцу сквозь крышу оранжереи и погибающей под холодным небом.

гличанину, послала перстень с сапфиром с руки Анатолия. Вся санатория, когда я приехала за телом Анатолия, *рыдала* буквально, кроме остолбенелой — меня... На его похоронах было вот именно «стечение народа». Так вот когда я приехала еще к нему живому, в моей комнате он поставил цветы и положил переписанные им любимые свои стихи русск<их> поэтов. Ваши там: «когда мы в Россию вернемся», я цитирую сейчас по памяти и, вероятно, ошибаюсь, но это те стихи, где есть строки «над нами трехцветным позором полочется нищенский флаг» и «как будто “коль славен” играют в каком-то приморском саду»³⁷. Вот как я бессознательно сейчас разболталась и ничего не рассказала, но ведь я и мысли об Анатолии вообще годы подавляла, п<отому> ч<то> это такая еще живая боль, и в памяти — никакой еще нет кристаллизации, отсева, прохлады мемуариста. Поймите меня и не посчитайте графоманкой (я этим никогда не грешила, а писем и вообще не пишу почти, п<отому> ч<то> просто не умею). Это монолог, это то, что «охватило» (Чарская³⁸, Цветаева) при чтении газетной заметки о вечере. У Вас, вероятно, есть сборники стихов Анатолия, новых стихов — нет. А это письмо лишь «позывное» о нем или «климат» или «бульон» последних лет. Мало? Да, по существу, мало. Но вот я уже и не знаю, что добавить к бюро, вереску, статьям, перстню. Последнее, что он мне рассказал, был ужас о Греции, т.к. в Leysin тогда оттуда прибыл один журналист. (Он видел сам: немцы ехали в автомобиле (Афины). Ребенок — мальчик 8^{ми}-лет играл в мяч на улице, и мяч угодил в крыло автомобиля. Немцы, всюду видевшие покушения, остановились. Один из них, чтобы наказать греченка за пережитый страх, положил его руку себе на колено и сломал в локте. Потом все — уехали.) И вот пора кончать, давно пора. Дорогой Георгий Викторович, будьте так добры и передайте мой сердечный привет Червинской, Теропьяно, Гингеру, Присмановой, Ивановым, Софиеву, *Ставровым*³⁹ и всем, кого встретите (я так часто вспоминаю милую Марию Ивановну, кот<орая> долше всех

³⁷ Неточная цитата из стихотворения Г.В. Адамовича «Когда мы в Россию вернемся...» 1921 г.

³⁸ Вероятно, Головина подразумевает «Записки маленькой гимназистки» (монолог для девушки 11–14 лет) писательницы Лидии Алексеевны Чарской (наст. фам. Чурилова, урожд. Воронова; 1875–1937).

³⁹ Речь идет о поэтах, преимущественно примыкавших к «парижской ноте», литературному направлению, основанному Г.В. Адамовичем и наиболее ярким представителем которого был А.С. Штейгер: Червинская Лидия Давыдовна (1907–1988), Терапиано Юрий Константинович (1892–1980), Гингер Александр Самсонович (1897–1965), жена последнего Присманова Анна Семеновна (наст. имя и фам. Анна Симоновна Присман; 1892–1960), Иванов Георгий Владимирович (1894–1958), жена последнего Одоевцева Ирина Владимировна (наст. имя и фам. Ираида Густавовна Гейнике; 1895–1990); Ставров Перикл Ставрович (наст. фам.

писала мне), и попросите кого-нибудь написать мне литературно-фольклорное письмо. Я всех помню и люблю, но так плохо пишу письма и так меня жизнь отвела в сторону ото всех, что пусть какая-либо добрая душа поймет меня, не осудит *и напишет*. Вас я очень прошу отозваться на это всё. И еще у меня просьба. Я до сих пор не читала *Ориона*⁴⁰, а очень хочу — прочесть. «Эстафету» читала, иногда почитываю «Новый Журнал» и «Новоселье», и «Русские новости», и, разумеется, советск<ие> издания, а Орион как заколдован, не могу достать, несмотря на все попытки. Пришлите мне Орион, кто-нибудь! Когда-то в «Совр<еменных> Зап<исках>» печатались «письма оттуда». И Вы ответили там-же на эти письма. В плане микрокосмоса это мой случай сегодня, напишите мне письмо сюда, это будет доброе слово, кот<орое>, конечно, тоже — доброе дело. Разумеется, по существу, оно может быть и недобрым. Всего лучшего.

Алла Головина.

P.S. Сердечный привет Ивану Алексеевичу. Что такое произошло на его вечере?⁴¹

* * *

Не получая писем столько раз
Мы сочиняли (в самоутешень?)
Наивно-драматический рассказ
Про пистолет, болезнь или крушенье...

Отлично зная — просто не до нас.
(Но уж не в силах обойтись без фальши,
Поверить правде до конца страшась,
Не смея думать, что-же будет дальше)...

--

Задрезбезджит на лестнице звонок.
Она войдет. Присядет. Что-то скажет.
За нею следом принесут венки.

Ставропуло; 1895–1955) и его жена художница Марина Ивановна (урожд. Смирская; 1891 — не ранее 1939).

⁴⁰ Речь идет о литературном альманахе 1947 г. «Орион», изданного тиражом 700 экземпляров, в котором участвовал Адамович.

⁴¹ Вероятно, речь идет о литературном вечере И.А. Бунина 23 октября 1948 г., где он сказал, что не любит пьес А.П. Чехова, что вызвало резкое осуждение в эмигрантской печати.

Три долгих дня пройдут до похорон.
Три дня его не вынесут из дому.
Но ничего уж не исправит он...
И как ему исправить неживому?
А. Штейгер⁴².

Адамович Г.В.
[Выступление на вечере памяти Тэффи]

В сегодняшнем нашем собрании, в самом замысле его есть какое-то неустрашимое противоречие. Собрание связано с 10-летием со дня смерти Н.А. Тэффи — приурочено к этому дню — и, значит, это собрание траурное. Если не обязательно должно оно быть печальным, то всё же должно бы настроить присутствующих и их мысли на лад серьезный и строгий. Между тем многие из тех, которые сегодня здесь собрались, пришли, чтобы смеяться — и, наверно, смеяться они будут. Надо бы, значит, это противоречие как-нибудь сгладить, и сначала вспомнить Тэффи и поговорить о ней без смеха, затем этот смех себе разрешить, — тем более что и сама покойная Н.А. едва ли представила бы себе вечер, посвященный ее творчеству, без того, чтобы смех возник. Имя Тэффи — останется в русской литературе веселым именем, хотя в жизни ее неизменно вплеталось что-то двоящееся, какое-то дребезжание, без которого у нас после Гоголя — по крайней мере, у писателей настоящих — после Гоголя и до Зощенко включительно смех редко и обходился.

Как-то неловко теперь повторять выражение: «смех сквозь слезы». Слишком оно избито, пожалуй, даже опошлено. С тех пор, как — даже если оставить Гоголя, новейший русский смех облагородившего, сделавшего невозможным, неприемлемым для русского слуха плотоядное, жирное гоготание, здоровенный раскатистый хохот, — с тех пор, как почти 3000 лет тому назад улыбнулась сквозь слезы, прощаясь с Гектором, гомеровская Андромаха. Но у Тэффи только человек исключительно рассеянный или поверхностный не заметит под шутиливой оболочкой грусти. В этом смысле Гоголя она не изменила, а могла бы вслед за ним и в виде комментария ко всем своим шуткам сказать: «Скучно жить на этом свете, господа!»

Откуда эта грусть? Что, ей не по душе была сама жизнь? Или, говоря языком книжным, она «не принимала мира» и, как Ив. Крамазов, хотела бы вернуть Богу билет на вход в жизнь? Нет, едва

⁴² Два стихотворения А. Штейгера 1930-х гг.

ли. Мир и жизнь наши, какими были они созданы, она принимала и даже готова была их славословить. Не по душе ей было только то, во что люди превратили существование, — и долгим, пристальным, умным, насмешливым взглядом смотрела она на людей, на их дела и делишки, на их дразги и заботы, смотрела с удивлением и сожалением. К драматизированию, к суровым, беспощадным приговорам склонности у нее не было. О чем бы Тэффи ни рассказывала, тон она брала такой, будто коснулась сущих пустяков. Но нет сомнения, что с тем же насмешливым удивлением, с которым глядела она на своих бестолковых и незадачливых героев, взглянула бы она и на читателя, который ничего, кроме шуток и юмора, в ее рассказах не нашел бы.

Как всякий человек, вероятно, в личной своей жизни ей приходилось думать. Размышлять о катастрофах нашей эпохи, о революции, войнах, потрясениях, о всяческих бедствиях, которыми наш век — вопреки предсказаниям, делавшимся в веке прошлом — оказался так богат. Но творческое ее внимание обращено было исключительно на то, что другой юморист назвал «нашей маленькой жизнью», на пыль и брызги этих мировых катастроф, на щепки, летящие при рубке огромных лесов, — и еще на то, что люди сами добровольно, по близорукости или по злобе, а иногда и по непоправимой своей душевной бездарности, к этим мировым катастрофам от себя добавили. Чехов сказал во времена сравнит<ельно> благополучные, что мир гибнет не от революций и войн, а от мелких домашних невзгод и неприятностей. Формула, которую теперь повторить трудно, после всего, на что мы насмотрелись. Но Тэффи приняла бы ее, только чуть-чуть изменив, т.е. сказав, что и после войн и революций многое в нашей жизни могло бы уцелеть во всей своей чистоте и прелести, если бы мы сами своей жизни не искажали.

Именно в этом, кажется мне, истинный смысл ее рассказов, которые за 30 лет — или даже больше — стали какой-то трагикомической летописью нашего эмигрантского житья-бытья, кот<орое> мельче жиз<ни> — со всеми этими бесчисленными, на все лады высмеянными эмигрантскими дамами, из кожи лезущими, чтобы при своих рязанских повадках сойти за природных парижанок, с их мужьями, способными до первого часу ночи спорить, прав ли был Плеханов в своей полемике против Михайловского или не прав, с их бездельниками-сыновьями, презирающими родителей не столько за Плеханова с Михайловским, сколько за то, что по их глубочайшему убеждению человек, к пятидесяти годам не сумевший обзавестись собственн<ым> автомобилем и не имеющий солидного счета в банке, уважения не заслуживает. Да, Тэффи была необык-

новенно наблюдательна, — в житейском порядке, пожалуй, более наблюдательна, чем какой-либо другой из новых русских писателей, не исключая и самых крупных. Может быть, объясняется это тем, что общие очертания мира и жизни, общие, основные линии эпохи ускользали от нее или даже вовсе не интересовали ее и не могли ее от мелочей жизни отвлечь. Если позволить себе такое сравнение, можно бы сказать, что с телескопом ей нечего было бы делать, зато микроскоп был в ее руках удивительный, — и улавливала она в нем того, чего другие не замечали. Книги ее полны истинных сокровищ этой мельчайшей житейской пронизательности, которые разбрасывала она мимоходом, сама не придавая им значения.

Вот еще вчера. Думая о сегодняшнем собрании, я перечитывал ее дневник, — и меня поразило в нем одно замечание. Приведу его для примера.

Тэффи пишет, что случается, когда у нашего знакомого или приятеля умирает кто-нибудь для них очень дорогой, мать, отец, сын, жена, муж — мы уговариваем себя: «нет, идти к нему не надо, ему сейчас не до меня, надо оставить его в покое, одного со своим горем», — но мы не отдаем себе отчета, что сами себя обманываем, сами себя оберегаем от трудного, тяжелого разговора и придумываем для своего малодушия удобное оправдание. В действительности же, если к человеку даже в самом глубоком горе прийти не с формальным словом соболезнования, а с настоящим вниманием к нему и к тому, кого он потерял, это всегда будет поддержкой и утешением. Как это верно! — и я думаю, каждый, спрося себя, скажет это. Это именно такие строки, о которых каждый читающих их — спрашивает себя: как мне это самому не пришло в голову. И, может быть, другой писатель, более расчетливый, не столь расточительный в своем богатстве, развил бы эту мысль на несколько страниц и иллюстрировал бы ее картиной, которая всем запомнилась бы. А Тэффи бросает ее на ходу, будто она уверена в своей зоркости и неистощимой способности разглядеть в жизни многое из того, чего никому другому увидеть не удалось.

Порой, однако, она бывает и жестока. «Не всегда...». Можно было бы вспомнить, говоря о ней строчку Анны Ахматовой.

Нелепым и жалким своим героям Тэффи, в сущности, прощает всё. Но она не выносит высокомерия, напускной важности, невозмутимости, и, несомненно, считала эти свойства признаком ограниченности не только умственной, но и душевной. Над людьми такого <рода> она, посмеивалась сухо и жестоко, с не при<сушей> ей черство<стью>, и так как стиль это человек, то Т<эффи> большей частью и заставляет таких людей изъясняться языком особенно

суконным и мертвенным, — вроде сверх-интел<лигентного> мужа, который в одном из ее рассказов поучает свою жену:

— Готовясь к материнству, вы должны особенно чутко осознать понятие долга и не упускать из виду интересов ребенка!

А она смотрит на него с тоской и думает: «Господи Боже мой! Ну какие у ребенка интересы?»

Замечательно, однако, что и тут Тэффи ищет возможности и предлога для снисхождения. Людей, которых называют сухарями, людей «в футляре» она недолюбливала, но чуть только мелькнет в них живой человеческий образ, как отношение ее меняется.

Вспоминаю одну из последних своих встреч с Н.А., когда она говорила, что хотела бы написать книгу о второстепенных героях русской литературы — и прежде всего об Ал.А. Каренине, муже Анны.

— Его не понимают, к нему несправедливы, — настойчиво повторяла она и доказывала, что обаяние, очарование Анны и вызвало несправедливость к ее мужу, хотя всё зло и несчастье идет именно от Анны, а не от него.

И Н.А. с волнением вспоминала тот эпизод, где Каренин у постели своей больной, почти умирающей жены протягивает Вронскому руку, — ту главу, о которой Достоевский писал, что если Европа спросит нас, что мы дали лучшее, то должны бы именно на эти страницы сослаться.

Эта неожиданная симпатия Тэффи к Каренину, казалось бы сухарю из сухарей, чрезвычайно для нее характерна. За движение сердца она всё прощала, все свои упреки перечеркивала и переставала издеваться.

Я думаю, что и в отношении к ней самой со стороны бесчисленных ее читателей произошло что-то похожее. Конечно, не о сухости речь, но все-таки. Казалось бы, благодарить ее им не за что. Если когда-нибудь войдет в историю созданная ею галерея портретов и сенок, польщены мы не будем. Эмиграция вправе была бы считать ее своим обличителем. А между тем мало кого из русских писателей у нас в последние десятилетия любили так, как любили Тэффи. Вероятно, потому, что сквозь ее сарказм и шутки все чувствовали излучение какой-то неистощимой душевной энергии и любви к миру и жизни, боли за то, что люди со своей жизнью делают. В писаниях Тэффи преобладают темные тона, только которые ей нужно было отбросить, чтобы свет, к себе тянувший, был бы лучше оттенен. Она смеялась, и мы смеемся вместе с ней, но, смеясь, знаем, что вдали, очень высоко, над всей пошлостью и се-

ростью жизни, над всеми ее карикатурами сияет прелесть и красота сияния, брезжит истина, которую никто не видел.

Надеюсь, что и сегодня, когда присут<ствующие> будут смеяться, они эту скрытую, но подл<иную> сущность ее твор<ений> уловят, поймут, почувствуют и оценят.

Литература

Адамович Г.В. История ложи Юпитер / Предисл., подгот. к публ. и примеч. А.И. Серкова // Записки Отдела рукописей РГБ. Вып. 52. М.: Пашков дом, 2004. С. 373–435.

Адамович Г.В. История ложи Юпитер / Предисл., подгот. к публ. и примеч. А.И. Серкова // Записки Отдела рукописей РГБ. Вып. 53. М.: Пашков дом, 2008. С. 507–550.

Георгий Адамович: Библиографический указатель работ о жизни и творчестве (1916–2010) / Сост. и предисл. О. А. Коростелева // Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. 2012. М.: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2012. С. 479–586.

Переписка И.А. и В.Н. Буниных с Г.В. Адамовичем (1926–1961) / Публ. О. Коростелева и Р. Дэвиса // И.А. Бунин: Новые материалы. Вып. 1. М.: Русский путь, 2004. С. 8–164.

Русское зарубежье. Хроника научной, культурной и общественной жизни. 1940–1975. Франция / Под общ. ред. Л.А. Мнухина в соотрудн. с Т.Л. Гладковой, В.К. Лосской, И.М. Невзоровой, А.И. Серковым и Н.А. Струве. Т. 1 (5): 1940–1954; Т. 2 (6): 1955–1963. Париж: УМКА-Press; М.: Русский путь, 2000. 673, 586 с.

Серков А.И. История русского масонства XX века: В 3 т. СПб.: Издательство им. Н.И. Новикова, 2009. 264, 472, 544 с.

Серков А.И. О дружбе двух писателей; Газданов Г. Письмо к Г.В. Адамовичу; О нашей работе № 2. Из серии передач на радио «Свобода» // Возвращение Гайто Газданова: Научная конференция, посвященная 95-летию со дня рождения. М.: Русский путь, 2000. С. 295–302.

Серков А.И. Российские масоны. 1721–2019: Биографический словарь. Век XX. Т. 1. М.: Ганга, 2020. 704 с.

Цветаева М.И. Письма Анатолию Штейгеру / Сост. и подгот. текста С.Н. Клепининой; примеч. Р.Б. Вальбе. Калининград М.о.: Луч-1, 1994. 160 с.

Цветаева М.И. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 6–7: Письма / Сост., подгот. текста и коммент. Л. Мнухина. М.: Эллис Лак, 1995. 805, 853 с.

References

Adamovich G.V. *Istoriia lozhi Iupiter* [History of the Jupiter lodge], intro., publ., comment. A.I. Serkov. *Zapiski Otdela rukopisei RGB* [Russian State Library Manuscript Department proceedings], issue 52. Moscow, Pashkov dom Publ., 2004, pp. 373–435. (In Russ.)

Adamovich G.V. *Istoriia lozhi Iupiter* [History of the Jupiter lodge], intro., publ., comment. A.I. Serkov. *Zapiski Otdela rukopisei RGB* [Russian State Library Manuscript Department proceedings], issue 53. Moscow, Pashkov dom Publ., 2008, pp. 507–550. (In Russ.)

Georgii Adamovich: Bibliograficheskii ukazatel' rabot o zhizni i tvorchestve (1916–2010) [Georgy Adamovich: Bibliographic index of publications on his life and work (1916–2010)], comp., intro. O.A. Korostelev. *Ezhegodnik Doma russkogo zarubezh'ia imeni Aleksandra Solzhenitsyna. 2012* [Alexander Solzhenitsyn House of Russia Abroad Annual. 2012]. Moscow, Alexander Solzhenitsyn House of Russia Abroad Publ., 2012, pp. 479–586. (In Russ.)

Perepiska I.A. i V.N. Buninykh s G.V. Adamovichem (1926–1961) [I.A. and V.N. Bunin's correspondence with G.V. Adamovich], publ. O. Korostelev, R. Davis. *I.A. Bunin: Novye materialy* [I.A. Bunin: New materials], issue 1. Moscow, Russkii put' Publ., 2004, pp. 8–164. (In Russ.)

Russkoe zarubezh'ie. Khronika nauchnoi, kul'turnoi i obshchestvennoi zhizni. 1940–1975. Frantsiia [Russian abroad. Chronicle of scientific, cultural and social life. 1940–1975. France], ed. L.A. Mnukhin, with the collaboration of T.L. Gladkova, V.K. Losskaia, I.M. Nevzorova, A.I. Serkov, N.A. Struve. Vol. 1 (5), 1940–1954; vol. 2 (6), 1955–1963. Paris, YMKA-Press Publ., Moscow, Russkii put' Publ., 2000. 673, 586 p. (In Russ.)

Serkov A.I. *Istoriia russkogo masonstva 20 veka* [History of Russian masonry of the 20th century], in 3 vols. St. Petersburg, Izdatel'stvo im. N.I. Novikova Publ., 2009. 264, 472, 544 p. (In Russ.)

Serkov A.I. O družbe dvukh pisatelei; Gazdanov G. Pis'mo k G.V. Adamovichu; O nashei rabote no. 2. Iz serii peredach na radio "Svoboda" [On the friendship of two writers; Gazdanov G. Letter to G.V. Adamovich; About our work No. 2. From a series of programs on Radio Svoboda]. *Vozvrashchenie Gaito Gazdanova: Nauchnaia konferentsiia, posviashchennaia 95-letiiu so dnia rozhdeniia* [The Return of Gaito Gazdanov: Sci. Conf. dedicated to the 95th anniversary of his birth]. Moscow, Russkii put' Publ., 2000, pp. 295–302. (In Russ.)

Serkov A.I. *Rossiiskie masony. 1721–2019: Biograficheskii slovar'. Vek 20* [Russian masons. 1721–2019: Biographical dictionary. 20th century], vol. 1. Moscow, Ganga Publ., 2020. 704 p. (In Russ.)

Tsvetaeva M.I. *Pis'ma Anatoliiu Shteigeru* [Letters to Anatoly Shteiger], comp., ed. S.N. Klepinina, comment. R.B. Valbe. Kaliningrad, Moscow Region, Luch-1 Publ., 1994. 160 p. (In Russ.)

Tsvetaeva M.I. *Sobranie sochinenii: V 7 t. T. 6–7: Pis'ma* [Collected works, in 7 vols. Vol. 6–7: Letters], comp., ed., comment. L. Mnukhin. Moscow, Ellis Lak Publ., 1995. 805, 853 p. (In Russ.)

From Georgy Adamovich papers

© 2020, Andrey Serkov

Abstract: The work is devoted to the publication of archival materials related to the poet and literary critic Georgy Adamovich (1892–1972) and not included in his Collected Works, the publication of which has begun not long ago. The published selection, which makes a certain contribution to the study of the poet's heritage and literature of the Russian Diaspora, is called upon to present different aspects of Adamovich's activity. The first block is devoted to his Masonic activity and includes one of the reports read by Adamovich at a meeting of Russian Masonic lodges in Paris, "The Secret of Pushkin". The second part of the selection, demonstrating the diversity of Adamovich's correspondence, is presented by a letter from the poet Alla Golovina concerning the last days of her brother Anatoly Shteiger, also the poet, probably the most prominent representative of the so-called "Paris note". The letter is addressed to Adamovich as an ideologist of the indicated literary direction. As an example of materials for an unpublished volume of Adamovich's Collected Works, his speech at the evening dedicated to Teffi (Nadezhda Aleksandrovna Lohvitskaya-Buchinskaya, 1872–1952) is selected. Materials are accompanied by an introductory note and publisher's comments.

Keywords: Georgy Adamovich, Anatoly Steiger, Teffi, Russian émigré writers and poets, Russian Masonic lodges

Information about the author: Andrey Serkov, Candidate of historical sciences, Senior Research Fellow, A.M. Gorky Institute of World Literature of the RAS, Moscow, Russia. E-mail: aserkov@bk.ru

Citation: Serkov Andrey. From Georgy Adamovich papers. *Literaturnyi fakt*, 2020, no. 2 (16), pp. 278–306. DOI 10.22455/2541-8297-2020-16-278-306